

КАССАНДРА ЛЭЙТС НЕИЗБЕЖНОСТЬ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Кассандра Лэйтс

Неизбежность

«Автор»

2026

Лэйтс К.

Неизбежность / К. Лэйтс — «Автор», 2026

Меня зовут Сильвана Этвуд, и я думала, что в свои девятнадцать лет знаю, что такое ненависть. Я выросла среди руин и пепла, среди памяти о погибших. Но я не знала, что ненависть может быть такой... близкой. Диамант, герцог Валентайн, правитель Колтрейна и глава Инквизиции, не просто враг. Он — чума, которую я впустила в свою кровь. Он пытал меня. Он насиловал меня. А потом он дал мне выбор, который сломал мою жизнь. Книга содержит откровенные эротические сцены, сцены пыток, сцены употребления алкоголя и табакокурения. Читайте с осторожностью.

© Лэйтс К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Кассандра Лэйтс

Неизбежность

Глава 1

Неизбежность

Часть 1

Нисхождение

*А тем, кто сам, добровольно
Падает в Ад
Добрые ангелы не причинят
Никакого вреда
Никогда
Группа “Агата Кристи”*

Глава 1. Две стороны реки.

«В старом городе шептались. В новом — смеялись. И никто не знал, что станет искрой».

Сильвана

1

Я открыла глаза в тишине.

Не в той, что бывает перед рассветом, когда дом ещё спит, но уже слышно, как внизу на кухне осторожно двигают чугунок, как скрипит половица под тёплой сонной ступнёй. Не в той, что пахнет печным дымом и парным молоком.

Эта была другой. Плотной. Стоячей. Она лежала в комнате, как холодная вода в колодце, и давила на барабанные перепонки. Дом затаился, будто человек, который боится, что его услышат.

Я замерла и прислушалась.

Ничего.

Только занавеска у окна шевелилась — медленно, неровно, словно кто-то невидимый трогал её кончиками пальцев. Ткань вздымалась и опадала, и в этом движении оставалось единственное доказательство того, что за стенами всё ещё дует ветер. Что мир не умер окончательно.

А потом ветер принёс запах.

Запах вошёл в комнату не тонкой струйкой, а целой волной — густой, сладкой, почти осязаемой. Так пахнут цветущие яблони в мае, когда лепестки уже осыпаются, а воздух становится похож на разбавленный водой персиковый сок. Так пахнет свежескошенная трава, когда коса проходит сквозь неё и зелень кричит, истекая соком.

Я не помнила, когда в последний раз чувствовала это.

За долгие недели в лесах, ночёвки в сырых подвалах, все те часы, когда единственными запахами были прелея листва, дым и чужой страх, я успела забыть, что мир может пахнуть жизнью.

Этот аромат ударил в ноздри.

И время треснуло.

— Ти-и-ише ты, коза! — горячий шёпот обжёг ухо. Ладонка сестры легла на мой рот. Мокрая от смеха. Пахла вишней. — Мама уже на «семи»! Сейчас сюда пойдёт!

Я укусила её за пальцы.

Она взвизгнула — тихо, сдавленно, как котёнок, которому наступили на хвост. Мы обе замерли, вжавшись в колючий куст. Ветки впивались в локти. По коже ползло что-то тёплое — не то царапина, не то капля пота. Нам было всё равно.

С крыльца долетел голос матери:

— Де-е-евять...

Она тянула это слово, как тянут мёд из банки, — медленно, с наслаждением, с улыбкой, которую я не видела, но знала, что она есть. В этом растянутом «девять» заключалось всё наше детство. Весь его неторопливый, правильный ритм. Весь мир, который тогда казался вечным.

А потом — взрыв.

Визг, топот, две пары босых ног несутся через клумбы, ломая стебли, разбрасывая тёплую землю. Мы знали, что влетит. Знали, что мать потом будет ругаться, отряхивать нас, а отец — делать вид, что сердится, хотя в глазах у него пляшут смешинки. Но сейчас это не имело значения.

Мы упали в траву.

И хохотали до икоты.

До слёз.

До рези в животе, до судорожных всхлипов, когда лёгкие уже не успевают за сердцем. Смех рвался из меня, как река из берегов, — дикий, пьяный, счастливый. Помню, Лия держалась за живот и повторяла: «Не могу, не могу, умираю...»

А потом трава под ладонями стала холодной.

Я не сразу поняла, что изменилось. Просто в какой-то момент смех Лии — звонкий, взхлёб — начал затихать. Не резко. Как будто кто-то медленно убавлял звук. Я повернула голову — и увидела, что её лицо бледнеет. Веснушки на переносице проступили резче. Глаза — широко раскрытые, тёмные — смотрели не на меня. Мимо.

Я проследила за её взглядом.

Над яблонями, над клумбами, над крышей дома, где мать развешивала сушиться мяту, — небо было не голубым. Оно было чёрным. Плотным, как дёготь. И в этой черноте медленно проступал контур. Тонкий. Длинный. Как лезвие.

Видение дрогнуло и рассыпалось.

Я бежала по каменной дорожке, нагретой солнцем. Босиком, раскинув руки, и ступни горели от жара. Впереди стоял отец. Спина ко мне. В этой спине, обтянутой льняным сюртуком, было столько надёжности, что хватало на весь мир. На все мои страхи. На все «а вдруг», которые ещё не успели во мне родиться.

Он обернулся.

И я прыгнула.

Не добежав. Не дождавшись. Прыгнула в полной уверенности, что он поймает. И он поймал. Подхватил меня, вскинул над головой, и я взлетела.

— Ну что, птица? Высоко летаешь?

Небо качнулось надо мной. Голубое. Огромное. Бесконечное.

А потом из-за его плеча я увидела лес.

Он стоял стеной — чёрный, мокрый, чужой. И в этой стене, между стволами, что-то двигалось. Медленно. Терпеливо. Как будто ждало, когда я наконец посмотрю.

Я не успела разглядеть.

Видение истаяло.

Я сидела на постели. Ладонь лежала на груди, под рёбрами. Там тлел тёплый уголёк. Присыпанный пеплом. Он грел — но не освещал. Не давал тепла — только напоминал, что когда-то был огонь.

Горло сжало. Ком встал где-то между ключицами, тяжёлый, сухой. Я дышала через нос. Медленно. Считая вдохи, как учил отец: «Раз. Два. Три. Держи. Выдох». Помогало не всегда. Но помогало.

Я сбросила одеяло, подставила лицо свету.

Рассвет уже просочился в комнату. Он был странным — не золотым, не розовым, а полупрозрачным, влажным, будто саму ночь разбавили водой, в которую капнули сок спелого персика. Свет без тепла. Свет-призрак.

Ставни резали его на полосы, и по моим щекам бежали золотые реки. Красиво. Но красота эта ранила.

Платиновые волосы рассыпались по плечам. Тяжёлые. Скользкие, как мокрый шёлк. В детстве я ненавидела расчёсываться. Мать битый час разбирала колтуны, а я вертелась, ныла, дёргалась. Теперь коса стала привычкой. В дороге распущенные пряди — непозволительная роскошь. В них можно запутаться. С ними можно не услышать, как сзади хрустнула ветка.

Но сейчас, в этой краткой передышке, я позволила им лежать свободно.

Маленькое послабление.

Знак того, что я ещё не до конца превратилась в воина.

Я покосилась на отражение в мутноватом зеркале напротив.

Глаза.

Зелёные. Но какого-то холодного, прозрачного оттенка. Без искры. Без дна. Так смотришь в воду лесного озера слишком долго — и перестаёшь различать, где заканчивается вода и начинается тьма.

Во взгляде была решимость. Но где-то за ней, в самой глубине, ещё колыхалась тень сна.

Мне снился луг.

Жёлтая бабочка. Бег без цели.

В этом сне на поясе не было меча.

Не надо было помнить пароли и явки.

И — главное — никто не умер.

Три «не». Три стены, отгородившие меня от той девочки, которой я была.

На тумбочке стоял кувшин. Глиняный, кривобокий, с выдавленным узором из ромашек. Не идеальный. Но мамин.

Я взяла его в ладони.

Глина ответила сухим теплом. Может быть, мне только казалось, что она до сих пор хранит прикосновения материнских пальцев. Может быть. Но я всё равно прижала его крепче.

Умылась.

Вода холодила кожу. Я растирала её по лицу, по шее, по ключицам, по затылку. Капли стекали за ворот рубахи, оставляя мокрые дорожки. Но тоска, застрявшая где-то между сердцем и горлом, не смывалась.

Я подошла к зеркалу вплотную.

Рама была тёмной, источенной жучком. Пахла старым лаком и временем. Из глубины стекла на меня смотрела девушка.

Или уже женщина?

Я не знала, где проходит граница.

Скулы заострились. Под глазами легли серые полумесяцы — следы бессонных ночей и решений, которые нельзя изменить. Я всматривалась в это лицо и искала ту Сильвану, что плела венки из одуванчиков и верила, будто мир устроен правильно.

Я искала её.

И не нашла.

Её там не было.

Как не было больше и Колтрейна — того, каким я его запомнила.

Я бросила взгляд в окно.

Осколки вывески пекарни ржавели у ворот. На соседнем подоконнике торчали прутики мёртвых цветов. По каменной кладке напротив ползли чёрные языки копоти. Следы пожара. Следы войны.

Когда-то здесь пахло хлебом. Печным дымом. Мятой, которую мать развешивала сушиться на кухне. Дети слуг носились у ручья, строили запруды из глины. Осенью к усадьбе съезжались телеги, и торговля шла до темноты. Жизнь кипела.

Теперь флигеля смотрели заколоченными окнами, как пустые глазницы.

А воздух звенел.

Натянутый, как тетива перед спуском.

Это была не тишина покоя, а тишина угрозы. Та, что предшествует выстрелу.

Я коснулась рамы кончиками пальцев.

Нежно. Почти с любовью. Но не к себе — к тому, что осталось за стеклом.

— Ты не та, — сказала я тихо. — И это не дом. Это эхо.

Слова упали в тишину и не разбились.

«Ты не та» — отказ от прежней себя. Признание того, что девочка с одуванчиками мертва.

«Это не дом» — отказ от места как источника опоры. Признание того, что стены больше не защищают.

«Это эхо» — самое горькое. Вокруг не было ни небытия, ни пустоты. Только эхо. Звук того, что уже отзвучало.

Но мысль эта была ясной.

И именно в этой ясности родилось что-то новое. В груди прорезалось чувство — холодное, острое, но своё. Не детская надежда. Взрослое упрямство.

Упрямство идти, даже если путь лежит по осколкам.

Я выдохнула.

Хватит воспоминаний.

Пора.

Я села на край кровати. Собрала волосы в тугую косу. Пальцы двигались сами — привычное движение, отработанное до автоматизма. Затылок натянуло, кожа на висках заныла — приятно, отрезвляюще.

Лента.

Выцветшая алая.

Лиина.

Я стянула косу и замерла на секунду, прижав ладонь к затылку.

— Готово! Теперь ты у меня привязанная, никуда не денешься!

Её голос ударил откуда-то изнутри. Короткая вспышка. Лиия стоит сзади, дёргает меня за пряди, хохочет. Я вижу её лицо — веснушки на переносице, прилипший к виску рыжий локон.

Тогда я фыркала и вырывалась.

Теперь носила эту нить добровольно.

То, что в детстве было игрой, стало ритуалом. То, что было оковами, стало связью.

Я поднялась.

Одевалась молча и быстро. Тело помнило каждое движение лучше головы. Автоматизм, выработанный неделями скитаний.

Холщовые штаны — мягкие, разношенные, не скрипящие на ходу. Ленная рубаха свободно скользнула по плечам, рукава до запястий. Кожаный пояс — два оборота — затянулся

на талии. Ножны с коротким клинком привычно легли на бедро. Плащ — бурый, в разводах, цвета прелой листвы — накинула поверх, капюшон пока отбросила на спину.

В такой одежде лес принимал меня за свою.

Шаг в сторону — и я тень среди теней.

В левый нагрудный карман легла карта. Тонкая бумага, помеченная уголками убежищ и безопасными бродами. Цель. Маршрут. Надежда, что где-то ещё есть безопасные места.

В правый карман — мешочек с травами. Ромашка — если накатит дурное. Подорожник — на случай пореза. Зверобой — чтоб не сломаться.

Я выпрямилась. Провела ладонями по груди, по поясу, проверила, всё ли на месте. Тело отозвалось привычной готовностью. Мышцы напряглись. Сердце стучало ровно.

Я была готова.

И всё же, прежде чем выйти, я ещё раз взглянула в зеркало.

Из темноты на меня смотрела незнакомка с зелёными, прозрачными, как лесное озеро, глазами.

Я ей почти поверила.

А тем временем — далеко, за лесом, за рекой, в другой части Колтрейна, где неон резал темноту, а стекло не знало трещин, — кто-то поставил бокал на стол. Абсент качнулся. Зелёный. Ядовитый.

И этот кто-то улыбнулся.

2

Тед возник на пороге бесшумно.

Не вошёл — просочился сквозь полумрак, как просачивается в комнату холодный утренний воздух, когда открывают дверь. Взлохмаченный. Тёплый со сна. В мятой льняной рубаше, с красной полосой на плече — следом от жёсткого матраса. Босые ступни на прохладных досках пола.

Замер в дверном проёме и не сразу посмотрел на меня.

Сначала — прислушался.

Я знала эту его привычку. Сначала слушать, потом говорить. Сначала впустить в себя звуки дома, убедиться, что всё на месте, что ничто не треснуло, не сломалось, не умерло за ночь. Старые часы в углу щёлкали, откусывая от тишины секунду за секундой. За окном ветер шуршал, перебирая листву. В камине угли вздыхали, оседая в золу.

Он слушал дом.

И, кажется, только потом позволил себе посмотреть на меня.

Ему двадцать пять. Высокий, с той собранной статью, которая идёт не от позы, а от привычки держать спину там, где другие гнутся. Русые волосы падали на лоб. Он машинально зажёб их пятернёй назад, и они встали торчком, смягчая жёсткую линию челюсти. Три дня без бритья. Светлая щетина на скулах.

Но глаза...

Светло-серые, почти металлические, когда он злился или боялся. Сейчас они смотрели иначе.

Я услышала его дыхание раньше, чем обернулась. И оборачиваться не пришлось — я и так знала, что это он.

Просто кивнула: заходи.

В этом кивке уместилось всё, на что у нас не было времени. «Ты — мой». «Держись». «Я вернусь». Три фразы, которые не будут произнесены вслух. Но он услышал.

Тед шагнул в комнату.

Медленно. Слишком медленно для человека, который только что поднялся с постели. Он не приближался ко мне. Он приближался к тому, чтобы начать разговор. А это куда труднее.

Остановился в шаге.

Не тронул. Не схватил за плечи. Сохранил дистанцию, которую мы оба держали как клятву: уважать путь друг друга, даже если путь уводит прочь.

— Ты уже... — начал он.

И осёкся.

Губы сжались. Слово «готова» встало поперёк горла. Он выдохнул и произнёс глухо, с хрипотцой:

— Уже выходишь.

Это не было вопросом. Констатация. Горечь, облечённая в форму утверждения.

Я затягивала шнурок на запястье. Пальцы не слушались. Я дёрнула сильнее, чем нужно, и узел вышел тугим, почти злым.

— Нужно успеть до полудня. В городе ждут. Лекарств нет, а дети...

Я не договорила.

Он и не нуждался в окончаниях. Он знал, что я делаю. И знал, почему я должна идти.

— Отец знает? — спросил он тихо.

Вот оно. Вопрос, который он не задавал вслух до последнего.

— Знает, что иду. Не знает — куда.

Тед закрыл глаза. На секунду. Долгую, как вдох перед прыжком.

— Я хотел бы с тобой, — сказал он. Почти про себя.

Он не просил. Не требовал. Просто положил передо мной эту правду, как кладут ключ на стол: вот, решай.

Я ответила мягко, но без зазора для спора:

— Нельзя. Ты нужен здесь. Кто-то должен ждать. Кто-то должен...

Мой взгляд метнулся по комнате.

Старое платье на спинке стула. Ещё пахнущее лавандой из нашего сада. Книга на подоконнике — раскрытая, с закладками из сухих цветов, собранных прошлым летом. Эти вещи тоже требовали защиты. Не меньше, чем те, кто ждал меня за воротами.

Я попыталась снять тяжесть. Улыбка вышла короткой, кривоватой:

— Вдвоём больше шансов нарваться на патруль. Особенно после того, как Инквизиция перетряхнула дом кузнеца. Слышал?

Он слышал. Кивнул, признавая. Взгляд снова упал на запястье.

На кожаный шнурок с кусочком янтаря.

Я сплела его сама. Давно. Ещё девчонкой, с тонкими, неловкими пальцами. Он не снимал его никогда. И сейчас его пальцы сами тянулись к талисману, оглаживали камень, ища в нём опору. Или, может быть, ответ на вопрос, который он ещё не задал.

— Тогда хотя бы пообещай, что будешь есть, — сказал он.

В голосе прорезалась та самая забота, которую он обычно прятал за делами и молчанием.

— Ты забываешь. Забываешь пить. Забываешь остановиться.

Я уже взялась за дверную ручку. Холодное железо обожгло ладонь.

— Обещаю. Буду жевать хлеб на ходу. Как всегда.

— Сильвана!

Я остановилась на пороге.

Его голос ударил в спину — не громко, но так, что не обернуться было нельзя.

Я обернулась.

Свет из окна полоснул по лицу, выхватывая выбившуюся прядь — белую на фоне тёмной рамы. И в этот миг я была не подпольщица. Не боец. Просто девушка, стоящая на пороге и не знающая, вернётся ли.

Тед преодолел разделявший нас шаг.

Он не схватил меня. Не стиснул. Он прижался лбом к моему лбу.

Я почувствовала его дыхание. Сбивчивое. Тёплое. Почувствовала, как колотится его сердце. Или, может быть, это моё колотилось, а он просто был слишком близко, чтобы отличить.

Мы стояли так — лоб в лоб, глаза в глаза.

Его руки висели вдоль тела. Мои — сжимали край плаща. Наша любовь не умела кричать. Она говорила тихо — через касания и молчание, через обещания, данные не губами, а чем-то глубже.

И вот здесь — в этой тишине, в этом тепле, в этой правильности — со мной случилось то, чего я не поняла.

Сначала пришло чужое.

Тело отозвалось.

Не на Теда. Не на его близость. На что-то другое. На то, чего в комнате не было.

Внизу живота разлилась тяжесть. Тёплая, густая, тянущая. Я почувствовала, как соски напряглись под рубашкой — резко, болезненно, без причины. Между бёдер стало влажно. Я не поняла, что это. Я никогда не чувствовала такого. Не с Тедом. Не с собой. Тело знало что-то, чего не знала я, — и оно отзывалось на то, чего не было в комнате.

Я застыла.

Стыд ударил в лицо — жаром, до корней волос.

Что это? Почему сейчас? Почему здесь — с ним, с Тедом, который держит меня за плечи и говорит о любви?

Я не знала.

И именно это пугало больше всего.

Где-то на периферии сознания мелькнуло видение.

Чужое. Непрошеное.

Металл. Холод, который не был воздухом. Прикосновение к коже, которое не должно было быть приятным. Но по позвоночнику прокатилась дрожь — и не от страха.

Чей-то выдох. На затылке. Близко. Так близко, что волоски встали дыбом.

Запах. Табак. Что-то травяное, горькое. Абсент.

Я вздрогнула.

И прогнала видение.

Но тело не отпустило. Ещё секунду. Две. Три. Я стояла в объятиях Теда, чувствуя, как что-то внутри меня медленно, неохотно закрывается обратно. Как зверь, которого спугнули.

Тогда я верила: настоящие чувства должны быть именно такими, как у нас с Тедом. Чистыми. Простыми. Взаимными.

Тогда.

— Я люблю тебя, — выдохнул Тед.

Без пафоса. Без надрыва. Просто сказал. И от этой простоты в комнате стало тесно — словно слова заняли собой весь воздух.

— Больше всего на свете.

В глазах защипало.

Я не позволила себе моргнуть. Слезы — это для тех, кто может позволить себе слабость. А мне сейчас нужна была сила. Дойти. Вернуться. Не расклеиться.

— И я тебя. Всегда.

Сказала — и услышала, как голос дрогнул на последнем слог.

Не от любви.

От стыда.

Потому что где-то глубоко, под сердцем, там, куда я сама боялась заглядывать, только что шевельнулось другое.

Не имеющее отношения ни к Теду, ни к этому дому, ни к тихой правильности наших чувств.

Не мысль. Даже не желание. Скорее — предчувствие. Смутное, как шум далёкой реки, которую ещё не видишь, но уже знаешь: она там. И течение у неё быстрое.

Оно не отменяло моей любви. Не делало её ложью. Просто рядом с ней — или под ней — зрело что-то иное. Безымянное. Острое. Нетерпеливое.

Тьма ли это? Голод ли? Или просто усталость, научившая меня чувствовать опасность раньше, чем её услышат другие?

Я не знала.

И именно поэтому прихлопнула это движение прежде, чем оно превратилось в мысль.

Уже на пороге я обернулась — жадно, быстро, забирая с собой его лицо.

Скулы. Щетину. Серые глаза.

Луч скользнул по янтарю на его запястье, и камень вспыхнул — рыжий, тёплый, живой.

Наша связь.

Пока ещё наша.

Дверь закрылась.

За ней — тишина.

А во мне — дрожь, которой я не понимала. И жар, которого не хотела. Который не должен был остаться.

Но остался.

З

Тело помнило дорогу лучше меня.

Шаг — лёгкий спуск. Два — ровное место. Три — незаметный подъём. Я не смотрела под ноги. Не нужно. Десятки таких переходов впечатались в мышцы, в сухожилия, в кости. Ноги сами находили нужные камни, обходили предательски скользкую россыпь щебня, ныряли в узкие просветы между корнями.

Утренний туман цеплялся за нижние ветки. Солнце пробивало листву косыми столбами, и роса горела так, будто кто-то рассыпал битое стекло.

Я не замечала этой красоты.

Мысли тёрлись внутри, как камешек в сапоге, — не вытряхнешь, не остановишься. Мешочек с травами на поясе качался в такт шагам. В голове — цифры, адреса, имена. В старой части города дети горели в лихорадке: грязная вода, антисанитария, отсутствие нормальных лекарств. У меня — несколько горстей сушёной мяты и ромашки. Если сегодня не раздобуду хинин, кто-то из них не переживёт эту неделю.

Под рубахой, на груди, у самого сердца — узел.

Простая верёвка. Потемневшая от пота и времени. Я носила её два года. Отец завязал её сам, в ту ночь, когда уходил в лес. «Пусть этот узел будет памятью. Пусть свяжет тебя с тем, чем был и однажды снова будет Колтрейн».

С тех пор я развязывала и завязывала её десятки раз. Каждый раз — как молитва. Как разговор с человеком, которого нет рядом.

Иногда, по ночам, я просыпалась от того, что верёвка холодела. Резко. Как металл на морозе. Я не знала, что это значит. Отец не объяснял. Но каждый раз после этого в старой части появлялись новые листовки — с призывами, с датами, с именами. И я понимала: он жив. Он работает. Он помнит.

Я сжала узел сквозь ткань.

Жив.

Пока — жив.

Память не спрашивает, готова ли ты.

Она врывается.

Отец стоял на крепостной стене.

Высокий. С сединой на висках. Ветер выдирал плащ из-под застёжки, и ткань хлопала, как крыло подбитой птицы. Закат за его спиной был багровым, густым, будто небо ранили, и оно истекало светом.

Он говорил ровно. Без пафоса. И от этого было страшнее всякого крика.

— Наша земля держится на трёх вещах: честь, память, верность. Пока мы помним — мы живы.

Мне тогда было семнадцать.

Я кивала, не понимая и половины.

Теперь я понимала каждую букву.

Отец сжал моё плечо. Пальцы впились так, что потом остался синяк. Я помнила этот синяк. Помнила, как он наливался сиреневым, как болел, когда я поднимала руку, как исчезал — медленно, неохотно, оставляя после себя желтизну.

— Ты — наша память, — сказал он.

Тогда это звучало как похвала.

Теперь — как приговор.

А потом пришёл тот день.

Первый день вторжения я помню до мелочей.

Утро было ярким, почти праздничным. Пахло цветущей вишней. Дети носились с воздушными змеями, и змеи плясали в небе — жёлтые, красные, с длинными лентами хвостов. Пекарь выставлял горячие булki на деревянные лотки. Я шла к реке за полевыми цветами для венка.

И тут земля вздрогнула.

Глухой удар.

Будто кулаком в грудь мира.

А потом — грохот.

Подкопы под городские ворота рванули так, что посуда попадала с полок, а люди — на колени. Я видела, как старик, сидевший на крыльце, вдруг оказался на земле, раскинув руки, и лицо у него было такое, будто он видит конец света.

Запах гари полез в горло. Едкий. Липкий. Он въелся в волосы, в одежду, в кожу. Я потом неделю не могла от него отмыться. Даже во сне чувствовала его — горький, как пепел.

Крики. Ржание коней. Лязг оружия.

Всё смешалось в один сплошной вой.

Король Лагерт восседал на вороном жеребце.

Я видела его мельком — через дым, через бегущих людей, через ужас, который размывал картинку. Он смотрел на происходящее с тем же выражением, с каким разглядывают скучную пьесу. Ни злости. Ни торжества. Только холод.

Старики шептали, сжимая иконы:

— Это не война. Это истребление.

А потом был подвал.

Мать прижимала меня и Лию к себе. Над головой топотали чужие сапоги. Грохотала перевернутая мебель. Смех. Хриплый, чужой, страшный.

Мать шептала молитвы.

Она знала их наизусть — старые, бабушкины, с певучими окончаниями. Мы ревели в голос, а она всё шептала, и её голос тонул в нашем плаче, как тонет в бурю слабый огонёк.

Я не понимала, почему небо больше не синее.

А потом пришёл отец.

Вечером первого дня. Израненный. Лицо в засохшей крови, бровь рассечена, рука перетянута какой-то тряпкой. Но взгляд — прежний. Тот самый, с которым он смотрел со стены.

Он собрал тех, кто не согнул спину перед завоевателем.
Безлунная ночь. Они уходили в лес — тени среди теней.

Перед тем как исчезнуть, отец обнял меня. Его руки — всегда каменные, всегда спокойные — дрожали. Я почувствовала, как они сжимаются на моей спине, как пальцы цепляются за ткань, будто он боялся, что я рассыплюсь.

— Ты — наша память. Живи, чтобы рассказать. Чтобы однажды мы вернулись.

Завещание.

Не просьба.

Он ушёл в темноту, и тьма сомкнулась за ним, как вода.

Вестей не было.

Ни письма. Ни знака. Ни слуха.

Иногда я ловила себя на мысли: наверное, мёртв. И тут же отбрасывала её — потому что если мёртв, то у меня не осталось никого.

Мать и Лию лихорадка забрала в первые же месяцы.

Я хоронила их сама.

А потом пришли плакаты.

Они появились внезапно. На стенах домов, на столбах, на заборах — везде. Лицо отца смотрело на меня с сотен стен. Седые волосы. Усталое, но гордое лицо. Прямая осанка даже на рисунке. Художник, рисовавший портрет, был талантлив — он поймал то, что нельзя поймать: непреклонность.

«РАЗЫСКИВАЕТСЯ. ДЖЕЙКОБ ЭТВУД. ГЛАВАРЬ МЯТЕЖНИКОВ. ОСОБО ОПАСЕН. ЗА СВЕДЕНИЯ — НАГРАДА».

Я знала эти слова наизусть. Каждую букву. Каждый завиток на портрете. Я проходила мимо них каждый день — и каждый раз отводила взгляд. Потому что смотреть на его лицо, зная, что он где-то там, живой, но недостижимый, — это как глотать стекло.

Но иногда — не отводила.

Иногда я останавливалась. Смотрела. Долго. Пока глаза не защипало. И шептала — одними губами, чтобы никто не услышал:

— Жив. Пока — жив.

Так я шла по лесу — а мысли несли меня дальше, через годы, к тому, чем стал мой дом.

Теперь Колтрейн — два города на одном перекрёстке.

Перекрёсток этот — лакомый кусок для Леброна, огромной империи, поглотившей все Южные Земли. Через Колтрейн идут пряности с юга, руда с гор, шёлк с запада. Кто контролирует его — держит половину континента за горло.

Леброн пришёл с юга — и принёс с собой не только мечи.

Он принёс свою веру.

Языческую. Чувственную. Порочную — так говорили старики, крестьяне. Там не молятся в тишине, не прячут тело под тканью, не стыдятся желания. Там порок возведён в абсолют. Там власть и наслаждение — одно. Там царит не бог, а плоть.

Я слышала рассказы. Шёпотом, в подвалах, у коптящих свечей.

О том, что правители Леброна — самые развратные короли, когда-либо правившие в этом мире. О том, как в полнолуние жители Леброна жгут костры, и танцуют вокруг них обнажёнными, и отдают тела богам — или друг другу. О том, что там нет стыда, нет греха, нет вины. Только желание. Только власть. Только ты — и то, что ты готов взять.

Тогда старики плевались. Тогда женщины отводили глаза. Тогда мужчины сжимали кулаки.

А я слушала — и где-то в глубине, под сердцем, что-то отзывалось. Не пониманием. Не одобрением. Чем-то тёмным, чего я сама в себе боялась.

Я гнала это. Гнала молитвой. Гнала памятью о матери.

Но оно оставалось.

Их технологии казались нам дьявольскими.

Железные звери без лошадей — они рычали и неслись по асфальту, и старики крестились, глядя на них. Стекланные глаза на столбах — они вспыхивали по ночам, заливая улицы мёртвым светом, и в этом свете не было ни тепла, ни тени. Дьявольские огни — неоновые, ядовитые, зелёные и красные, — они горели в новой части, и от их блеска болели глаза.

Говорили, что в Леброне есть машины, которые слышат шёпот через стены. Есть зеркала, которые помнят лица. Есть двери, которые открываются от прикосновения только одной ладони — и не открываются ни для кого другого.

Это казалось невозможным. Колдовским. Греховным.

Но это было.

И граница прошла по реке.

Широкая, мутная, — она отражала две реальности.

На одном берегу — тусклые огни и гнилые крыши.

На другом — неон и стекло.

Старая часть — лабиринт улочек, мощённых булыжником, который раскрошился и зарос мхом.

Дома — не дома, а остовы. Покосившиеся. С прогнившими стропилами. С выбитыми окнами, заколоченными досками, которые уже сами еле держатся. Стены в трещинах. Сквозь штукатурку торчат гнилые брёвна, как рёбра умирающего зверя.

Воздух здесь тяжёлый. Сырость. Тлен. Запах сырых углей и гниющих отходов. Он оседает на языке, липнет к нёбу. Его не выплюнуть.

Днём улицы пусты. Изредка мелькнёт согнутая фигура в лохмотьях — тень среди теней.

Вечером зажигаются редкие фонари. Тусклые. Дрожащие. Они не разгоняют темноту, а лишь подчёркивают её.

В домах — холод. Дров нет. Уголь — роскошь.

Семьи ютятся в одной комнате. Спят на соломе. Укрываются ветошью. Дети с впалыми щеками и пустыми глазами бродят в поисках съестного. Старики умирают молча: лекарств нет, врачей почти не осталось.

Те, кто ещё может работать, нанимаются в новую часть — за гроши, за унижение, за право вернуться вечером и не смотреть в голодные глаза домашних.

А на том берегу — другая вселенная.

Широкие проспекты. Идеальный асфальт. Свет — яркий, заливающий всё, не оставляющий теням ни шанса. Здания с зеркальными фасадами. На первых этажах — бутики: бриллианты за пуленепробиваемым стеклом, платья, расшитые блёстками, меха на манекенах.

По дорогам скользят автомобили. Хромированные. Блестящие. Они отражают огни казино и ночных клубов, и кажется, что по улицам катятся жидкие зеркала.

Вечером улицы заполняются людьми в элегантных нарядах. Мужчины в костюмах с иголочки. Женщины в платьях, сверкающих, как рыба чешуя. Из дверей клубов бьёт музыка, смех, звон бокалов.

В казино крутятся рулетки. За столами сидят те, кто может проиграть месячную зарплату за вечер — и не заметить.

Неоновые русалки извиваются над входом в «Глубинные соблазны», обещая забвение. Рядом — витрина «Лунного отблеска»: бриллианты подмигивают сквозь бронированное стекло. Лазерные лучи пронзают дым танцполов. Диджеи задают ритм. Толпа движется как единое существо.

А в укромных углах — за закрытыми дверями «Шепчущих садов» — продают иллюзию свободы. В подвалах «Глубинного прилива» на кон ставят не деньги. Годы жизни.

Жители новой части — дельцы, вовремя переметнувшиеся к новой власти. Чиновники на тёплых местах. Аристократия из Леброна.

Для них деньги — не средство. Воздух.

На старую часть они смотрят свысока — если вообще вспоминают о ней. Пережиток. Досадное недоразумение, которое скоро рассосётся само.

Река стала не просто водой.

Пропастью.

Иногда по ночам с нового берега доносятся фейерверки. Музыка. Смех. Хлопки петард. Они эхом катятся над старой частью, напоминая: вот она, другая жизнь.

Только мост почти разрушен.

А на единственном переходе охрана проверяет документы, задерживая взгляд на каждом шве, на каждой заплате.

Нищим вход закрыт.

Я шла по лесу.

Лес не знал границ. Лес не знал, где кончается старая часть и начинается новая. Лес просто был. Древний, мокрый, чужой. Он принимал меня — но не как свою. Как тень. Как временную гостью.

Я сжала узел сквозь ткань.

Жив.

Пока — жив.

В старой части шепчутся тише и оглядываются на тени у стен.

В новой — усилили патрули.

Колтрейн балансирует на лезвии.

Я шла по этому лезвию.

И под рубахой, на груди, у самого сердца, узел холодел.

4

Тропа виляла между древними дубами.

Их узловатые корни выпирали из земли, как вены на руках у стариков, и то и дело норовили ухватить за сапог. Один такой корень добился своего. Я запнулась, взмахнула руками, чудом удержала равновесие. Сквозь зубы вырвалось короткое ругательство — резкое, как выдох боли.

Присела на корточки.

Замерла.

Слушала.

Тишина.

Где-то слева, в глубине леса, прокричала птица. Три ноты. Условный сигнал. Свои.

Я ответила свистом — резким, коротким, как щелчок хлыста, — и поднялась. На ходу отряхнула ладони. Тело снова пришло в движение. Но мысли уже свернули туда, куда я их не звала.

В Рокуэлле — дворце убитого правителя, вырезанного вместе с семьёй, — теперь хозяйничал сын Лагерта.

Молодой.

Жестокий.

Ему был двадцать один год. Всего двадцать один — а за плечами уже столько, что старики бледнели, услышав его имя.

О нём шептали такое, от чего ночью просыпаешься в холодном поту. Его высочество Диамант, герцог Валентайн. Повелитель Колтрейна. Глава ордена Священной Инквизиции.

Я никогда его не видела.

Но в каждом рассказе, в каждом пересказе с чужих слов он выходил одним и тем же: лицо — будто вырезанное из мрамора, безупречное до дрожи. Глаза — холодные, прозрачные, как вода в горном озере, где никто не купается, потому что дна не видно. Улыбка — тонкая, почти незаметная, — не обещала ничего хорошего, но люди всё равно опускали взгляд первыми.

Не из почтения.

Из инстинкта.

От такой красоты хочется отшатнуться, как от лезвия.

Патруль прошёл здесь недавно.

Я заметила примятую траву. Потом — серый лоскут на ветке. Такие носили солдаты Леброна.

Сердце ударило в рёбра.

Я обошла это место по дуге, вжимаясь плечом в шершавые стволы. Движения стали осторожными, выверенными — охотник, почуявший чужое присутствие. Ноздри раздувались, ловя запахи. Ни дыма. Ни пота. Ни металла. Ушли.

Но мысли не отпустили.

Они снова вернулись к нему.

Слухи о Диаманте ползли по землям, как змеиный выводок: не остановишь, не прихлопнешь.

Казнит за косой взгляд. Задержался глазами на долю секунды дольше, чем дозволено, — и утром твоё имя исчезает из списков живых.

Карают за слово. Даже за шёпот в тёмном углу.

Инквизиторы приходят ночью, и ветер доносит из подвалов Рокуэлла приглушённые, нечеловеческие звуки.

Но говорили не только о казнях.

Говорили о другом. О том, что в его покоях творится то, о чём не рассказывают детям. О том, что он держит женщин — и не одну. О том, что они входят в его спальню — и не выходят. Или выходят — но другими. С пустыми глазами. С улыбкой, которая не сходит с лица, даже когда они плачут.

Говорили, что он дарит их. Приближённым. Гостям. Тем, кто заслужил. Или — тем, кого нужно унижить.

Говорили, что он заставляет смотреть. Что в его покоях есть зеркала — на потолке, на стенах, — и он не позволяет отводить взгляд. Ни от себя. Ни от других. Ни от того, что он делает.

Говорили, что он не знает слова «нет». Потому что для него его не существует.

И — самое страшное — говорили, что женщины возвращаются. Сами. Добровольно. Что они просят ещё. Что они не могут без него. Что он ломает их так, что они начинают любить свой слом.

Я слушала это — в подвалах, у костров, в очередях за хлебом.

И — вот что было странно.

Я запоминала.

Не имена. Не даты. Не лица. Детали. Зеркала на потолке. Улыбка, которая не сходит с лица, даже когда плачут. Женщины, которые возвращаются. Сами.

Я не понимала, почему это остаётся во мне. Почему я перебираю это в голове — снова и снова, как чётки. Почему слухи о его жестокости не отпугивают меня. А тянут. Тихо. Настойчиво. Как течение под водой.

Это не был страх.

Это не был гнев.

Это было любопытство. Тёмное. Липкое. Чужое.

Я хотела знать. Что происходит в этих покоях. Что он делает с ними. Почему они возвращаются. Что там — за зеркалами, за закрытыми дверями, за молчанием, которое кричит громче любых звуков.

Я ненавидела себя за это.

Потому что я — та, что хоронила мать и сестру. Та, что поклялась мстить. Та, что помнит лица и имена. Я не имела права хотеть знать это.

Но я хотела.

И это пугало меня сильнее, чем казни. Сильнее, чем инквизиторы. Сильнее, чем слухи о подвалах.

Потому что это было во мне.

А однажды я увидела его приближённых.

Пару раз. Мельком. Они двигались бесшумно, говорили редко, и глаза у них были пустые. Кукольные.

И от этого становилось ещё страшнее: никто не мог сказать наверняка, где заканчивались слухи и начиналась правда.

Одни клялись, что в жилах Диаманта течёт не кровь, а холодный огонь. Другие — что он не человек вовсе. Третьи плевали через плечо и крестились, хотя богов в Колтрейне не осталось.

Но одно я знала твёрдо: пока он дышит — Колтрейн не дом.

Колтрейн — ловушка.

Красота здесь — приманка. Тишина — предвестник беды.

Я сжала кулаки.

Ненависть отозвалась в груди тугим холодным узлом. Она не жгла. Не мутила рассудок. Это была ненависть-память. Выкованная из любви к земле, которую у нас вырвали с корнем.

Она держала меня вертикально каждое утро. Она толкала в спину, когда страх навалился и хотелось лечь лицом во мху и не вставать.

В ушах снова звучал голос отца:

— Ты — наша память.

Так ясно, будто он шёл рядом.

И я помнила.

Лица.

Имена, которые уже начали стираться.

Названия сожжённых деревень — каждое как шрам.

Последние слова тех, кто не успел уйти:

— Не дай им победить.

— Сохраните дом.

— Пусть знают, что мы были.

Запах крови на брусчатке площади.

Даже ветер не мог выдуть его до конца. Иногда он возвращался — резкий, железный, тошнотворный. И тогда я останавливалась, прижимала ладонь ко рту и ждала, пока желудок перестанет сжиматься.

Тропа пошла под уклон.

За деревьями уже мелькали крыши старой части города. Хрупкие. Косые. Будто сложенные из щепок.

Но в окнах теплился свет.

Там люди передавали друг другу хлеб. Дети учили буквы по обрывкам книг. Старики рассказывали истории о былом величии — и ввали, наверное, приукрашивая. Но это не важно.

Важно — что рассказывали.

Порыв ветра сорвал с ветки жёлтый лист. Закружил в воздухе.

Я поймала его на лету.

Рваный по краям. Похожий на клочок старой карты. Я сунула его за пазуху. Не знала зачем. Может, просто чтобы сохранить хоть что-то.

— Вернём, — сказала я тихо. Не разбирая, к кому обращаюсь: к ветру, к отцу, к земле под ногами. — Восстановим. Вспомним.

Поправила мешочек с лекарствами.

И шагнула из леса в долину.

Там ждали не только еду и снадобья.

Надежду.

Пока во мне горела память, в них будет тлеть вера. А с неё и начинается пожар.

Но где-то под этой верой, под памятью, под ненавистью — осталось то, что я не могла назвать.

Любопытство.

Странное, ненормальное, почти болезненное.

И оно не уходило.

Диамант

1

В комнате стоял густой, спёртый полумрак.

Бархатные портьеры наглухо отсекали дневной свет, не пропуская ни единого луча. Воздух сложился, как испорченный парфюм: вишнёвый табак, травянистая горечь абсента, а под ними — сладковатый, животный запах разгорячённой кожи. И ещё — влажный, тяжёлый дух женского возбуждения. Он плыл в воздухе волнами, лип к небу, оседал на языке.

Время здесь не текло. Оно вязло, тянулось, как остывающая карамель.

Я сидел в кресле, лениво вращая бокал. Абсент вспыхивал в отблесках огня — зелёный, ядовитый. Полено в камине треснуло, как щелчок кнута.

Напротив, в кресле, сидела она.

Ванесса.

Женщина, созданная для таких покоев. Порочная, гибкая. Шёлковый пеньюар стекал с плеч, ничего не скрывая — только обещая. Грудь просвечивала сквозь ткань, соски напряжены — тёмные на бледной, почти синеватой в отсветах пламени коже. Бёдра слегка разведены. Я видел, как она сжимает их, как по внутренней стороне бедра ползёт тонкая дорожка влаги.

Она не отводила глаз.

— Ты сегодня особенно хороша, — произнёс я.

Это не было комплиментом. Сухая констатация факта. Без тепла.

Она улыбнулась. Широко. Голодно. Провела языком по нижней губе, оставляя на ней влажный след.

— Я всегда хороша, — ответила она. Голос низкий, с хрипотцой. — Просто ты редко снисходишь до того, чтобы это заметить.

Она поднялась с кресла сама.

Не ждала приказа. Подошла, покачивая бёдрами. Опустилась на колени между моих разведённых ног. Пальцы с кроваво-красным лаком легли на мои бёдра, скользнули выше — к поясу, к застёжке.

— Можно? — спросила она, глядя снизу вверх.

В глазах — не мольба. Азарт. Голод. Готовность.

Я кивнул.

Она растянула мои штаны, достала член. Обхватила ладонью у основания, провела языком по стволу — медленно, от корня до головки. Слюна текла обильно, горячо. Она брала глубоко, без рвотного рефлекса, работая и рукой, и ртом. Голова двигалась ритмично, волосы рассыпались по моим бёдрам.

Я смотрел сверху.

Возбуждение нарастало. Но какое-то далёкое, почти чужое. Как будто между мной и моим телом была прослойка льда. Я мог бы кончить ей в рот. Мог бы схватить за волосы и насадить глубже. Мог бы.

Но мне было скучно.

Она почувствовала. Подняла голову, выпустила член изо рта. По подбородку стекала слюна, губы покраснелись, распухли.

— Чего ты хочешь? — спросила она.

— Чтобы ты перестала спрашивать.

Она улыбнулась. Дерзко. Вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Тогда возьми меня так, как умеешь. Без жалости.

Я взял её за горло.

Не сильно. Достаточно, чтобы она почувствовала пальцы на пульсе. Большой палец лёг на ямку под подбородком, чуть выше — на сонную артерию. Я чувствовал, как под кожей бьётся кровь. Часто. Быстро. Она хотела этого.

— Встань, — сказал я.

Она поднялась.

Я развернул её спиной к себе, толкнул к креслу. Она упёрлась ладонями в подлокотники, прогнулась в пояснице. Пеньюар задрался, открывая задницу. Я сдёрнул его одним движением. Ткань треснула по шву.

Она была мокрая. Сильно. Влага блестела на внутренней стороне бёдер, стекала к коленям. Я видел, как сжимается её вход — ритмично, голодно, в ожидании.

Я провёл ладонью по её спине, по позвоночнику. Кожа горела. Мышцы дрожали.

— Тебя так заводит, когда тебя имеют, как шлюху, — сказал я.

— Да, — выдохнула она. — Давай.

Я не вошёл.

Не сейчас.

Вместо этого подошёл к резному столику в углу.

На нём лежали инструменты. Плетёная плетъ с кожаными хвостами — мягкими и жестокими. Наручники. Холодная сталь в серебряной оправе блестела в свете огня, как оскал зверя.

Я взял плетъ. Рукоять легла в ладонь привычно — тёплое дерево помнило меня.

Она стояла спиной. Не видела — но чувствовала. Я видел, как напряглась её спина, как по лопаткам пробежала дрожь. Она знала, что будет дальше. И ждала.

Я подошёл сзади. Кончиком плети провёл по её ягодицам. Едва касаясь. Потом — вдоль позвоночника, к шее.

— Руки за спину, — сказал я.

Она повиновалась сразу. Скрестила запястья на пояснице.

Щелчок замка. Сухой. Окончательный.

Холод металла обхватил её руки.

Она втянула воздух сквозь зубы и выгнулась сильнее, подставляя спину.

— Проси, — сказал я.

— Ударь меня, — ответила она без паузы. — Так, чтобы осталось.

Я ударил.

Плетъ рассекла воздух и опустилась на ягодицы. Кожа вспыхнула красной полосой. Она вскрикнула — коротко, рвано. Но тут же выдохнула:

— Ещё.

Я ударил снова. Ниже. По задней стороне бёдер.

Она застонала. Ноги подогнулись, но она удержалась, вцепившись скованными руками в воздух.

— Ещё, — повторила она. Голос дрожал, но в нём не было мольбы. Только требование. Я бил размеренно. Без злости. Без азарта. Плеть ходила по кругу: ягодицы, бёдра, верхняя часть спины, снова ягодицы. Кожа розовела, потом краснела. Кое-где выступили капельки крови.

Она уже не кричала. Только всхлипывала и двигала бёдрами в такт ударам. Влага текла по внутренней стороне бёдер, смешиваясь с каплями пота и крови.

— Хорошая сука, — сказал я.

— Твоя сука, — отозвалась она, задыхаясь.

Я бросил плеть на ковёр.

Взял её за бёдра. Вошёл сзади. Без подготовки. Резко. Она вскрикнула — но не от боли. От того, что наконец-то получила.

Ритм был жёстким. Быстрым. Мой таз бил по её истерзанному ягодицам, кожа шлёпала о кожу — влажно, громко. Она стонала в голос, не сдерживаясь. Скованные руки беспомощно дёргались за спиной.

Я держал её за талию. Потом схватил за волосы, намотал на кулак, дёрнул голову назад. Она захрипела, прогнулась сильнее.

— Ещё, — прохрипела она. — Пожалуйста, ещё.

Я ускорился.

Под конец я вытащил и кончил ей на поясницу. Густая, тёплая сперма потекла по коже, смешиваясь с потом и выступившей кровью. Она замерла, тяжело дыша. По бёдрам всё ещё стекала её собственная влага — вперемишку с моей.

Я отступил.

Она осталась стоять, упёршись в кресло. Голая. Потная. Со скованными за спиной руками. С истерзанной плетью задницей и залитыми спермой ягодицами.

Я застегнул штаны и подошёл к окну.

Достал сигарету. Прикурил от пламени свечи. Огонёк дрожал, выхватывая мои черты.

Дым тянулся к потолку, сплетаясь в ленивые узоры.

За спиной шуршала ткань. Она поднималась.

— Я не снимал наручники, — сказал я, не оборачиваясь.

Шуршание стихло.

Пауза.

— Подойди.

Она подошла. Босиком по ковру. Встала рядом, всё ещё со скованными руками.

Я снял наручники. Бросил их на подоконник. Они звякнули о камень.

— Можешь убираться, — сказал я.

Она не вздрогнула. Только тихо усмехнулась.

— Ты сегодня был почти живым, — сказала она. — Почти.

Босые ступни по камню.

Щелчок замка.

Я остался у окна.

Сигарета догорала. Пепел сыпался на подоконник, оставляя серые метки на холодном камне.

Горький привкус на губах — табак, абсент, что-то ещё безымянное.

А за окном матово светились снежные пики. Вечные. Неприступные. Мёртвые.

Но даже они уступали тому, что жило — или не жило — у меня в груди.

Тому, что давно не жило.

2

Я вошёл в центральный зал Рокуэлла.

Здесь было холодно, несмотря на горящий камин.

Свет из высоких стрельчатых окон падал на каменный пол бледными, размытыми прямоугольниками. День снаружи угасал, но внутри время всегда стояло на грани сумерек.

Я не шагнул — скользнул в зал. Тяжёлые дубовые створки за моей спиной сомкнулись с глухим, сытым звуком, отрезая далёкое эхо коридоров.

Перед тем как войти, по пути, не глядя, коснулся панели на стене.

Плазма вспыхнула. Чёрный экран ожил — и по залу ударил звук.

Гитарный рифф. Тяжёлый. Мрачный. Симфонический. Dimmu Borgir. «The Serpentine Offering». Клип шёл по одному из лебронских каналов — норвежская группа, которую в новой части города обожали за «правильную» эстетику.

На экране — чёрно-белые кадры. Оркестр. Хор. Человек в гриме, с чёрными глазами, стоял в центре — и пел о змее, о предательстве, о том, что спасение приходит через тьму.

В кресле у огня, закинув ногу на ногу, сидел Роланд.

Массивный. Широкоплечий. Бычья шея. Руки, которые помнили вес любого оружия. Светлые волосы зализаны назад, открывая высокий лоб. На щеке — старый шрам, белая молния через загар. Этот шрам придавал ему особый шарм человека, который не раз заглядывал в глаза смерти и всякий раз ухмылялся в ответ.

Глаза — ярко-синие, живые — искрились азартом. Тем особым, голодным огоньком, какой бывает у гончей за секунду до того, как спустят свору.

Ему двадцать четыре. Старше меня на три года. Но в нашей дружбе возраст никогда ничего не решал.

Мы выросли вместе.

Он — сын герцога Вейла, одного из ближайших советников отца. Я — сын короля. Но в детстве это не имело значения. Мы дрались на деревянных мечях в дворцовых коридорах, воровали вино из отцовских погребов, лазали по крепостным стенам, а несколько раз он спасал мне жизнь. Он — единственный, кому я позволял говорить.

Не потому, что он был моим слугой. Потому что он был другом.

Роланд поднялся. Движение плавное, пережат мышц под тканью — хищник, который пока не бросается, но уже изготовился.

Он кивнул на экран.

— Опять твоя секта? — спросил он. — Ты бы хоть иногда что-то повеселее включал. Там, в новой части, есть клубы с нормальной музыкой. Помнишь, мы были в «Глубинном приливе»? Вот где жизнь. А это...

Он махнул рукой на экран, где Шаграт выводил что-то на древнем норвежском.

— Это похоронный марш для девственников.

— Тебе не понять, — отозвался я, опускаясь в соседнее кресло. Провёл пальцем по металлическому подлокотнику — холод обжёг кожу. — Это искусство.

— Искусство — это когда баба стонет под тобой. А тут — мужик в гриме кричит в микрофон. — Роланд усмехнулся. — Но ты у нас эстет. Я забыл.

Я не ответил.

На экране хор подхватил припев. Голоса звучали так, будто их записывали в аду.

Роланд поморщился, но не выключил. Он знал, что я любил эту группу. Знал, что я включал её, когда думал. Когда планировал. Когда убивал.

— Ты вовремя, — сказал он. — Я уже думал, ты застрял в очередной бабе.

— Завидуешь?

— Чему? Тому, что ты трахаешь всё, что движется, и не помнишь их лиц? — Он усмехнулся. — Нет, спасибо. Я предпочитаю запоминать.

— И как? — спросил я, не отрывая взгляда от экрана. — Помнишь?

— Всех. По именам. По запаху. По тому, как они стонут. — Роланд покачал головой. — Это проклятие, Валентайн. Ты забываешь. Я — помню. И знаешь, что хуже?

— Что?

— Что иногда я жалею, что не умею забывать, как ты.

Я промолчал.

Он вздохнул. Махнул рукой — мол, проехали.

Потом шагнул к камину. Пламя высветило его улыбку — кривую, с привкусом сарказма, который он позволял себе только наедине со мной.

Он вытянул из внутреннего кармана сложенный пергамент. Развернул. Бумага хрустнула, когда он бросил её на столик между нами.

Воск от свечи смешивался с дымом камина. В воздухе висел густой, терпкий запах.

— Ладно. Что скажешь? — спросил он, склоняясь над картой.

Я склонился следом.

Схема усадьбы. Маршруты патрулей. Точки засад. Каждая линия вычерчена с маниакальной точностью.

— Всё готово, — сказал Роланд. — Сеть установлена. Дочка мятежника влетит прямо в руки. Как птичка в клетку.

— Красиво, — сказал я, проводя кончиком кинжала по одной из линий. — Ты превзошёл себя.

— Я всегда превосхожу себя, когда речь о том, чтобы кого-то поймать. — Роланд ухмыльнулся. — Но есть нюанс.

— Нюанс?

— Она не просто дочь. Она — связная. — Он ткнул пальцем в карту. — Девчонка таскает отцу информацию. Явки, пароли, списки. Она — его глаза и уши. Пока она дышит — старик не слеп.

Я откинулся на спинку кресла.

— То есть, если мы её возьмём...

— Мы его ослепим, — закончил Роланд. — Он потеряет связь с ячейками. Начнёт метаться. А когда он запаникует — он ошибётся. И тогда мы возьмём его.

Пауза.

— Или, — продолжил он, — он сделает что-то более глупое. Например, попытается её вытащить. И тогда мы возьмём обоих. И кстати, я запустил дрон над лесом. Если она выйдет на тропу — мы увидим её раньше, чем она услышит нас.

Я медленно провёл пальцем по линии лесной дороги.

Я видел не карту. Траекторию.

Чужую, до смешного предсказуемую судьбу.

Девочка с корзинкой лекарств. Думает, что спасает мир. А на деле — пешка, которой остался один ход.

— Хорошо, — выдохнул я. — Очень хорошо.

Роланд ждал.

Я позволил паузе повисеть ровно столько, сколько требовалось, чтобы он понял: продолжение — не похвала. Констатация.

— Ты всегда умел доставить мне удовольствие.

Роланд расхохотался, запрокинув голову:

— О, блядь, только не начинай! Я тебе не твои бабы. А вот доставить в твои руки нужного человека — это могу. Это, знаешь, куда занятнее постельных игр.

Он осёкся, но улыбка не сошла с губ. Наоборот — стала шире, наглее.

— Кстати, о Ванессе. Я сегодня видел, как она выползала из твоих покоев. Едва стояла на ногах. Шла, как после хорошей порки. И, судя по лицу, ещё и не раз кончила.

Я приподнял бровь.

— Ты следишь за моими любовницами, Роланд?

— Сложно не заметить, когда они покидают твою спальню на трясущихся ногах. — Он усмехнулся. — Она хоть до двери дошла сама? Или ползком?

— Дошла. Я не настолько жесток.

Роланд хмыкнул.

— Ну да. Ты же у нас сама доброта.

Он прошёлся вдоль камина, заложив руки за спину. Потом остановился и бросил через плечо:

— Долго ещё будешь держать её при себе? По-моему, она уже на грани. Ещё немного — и начнёт молить, чтобы ты её не прогонял.

Я пожал плечами.

— Пока забавляет — пусть остаётся. Надоест — уйдёт. Как все до неё.

— А если не захочет уйти?

— Тогда будет уползать, как сегодня. — Я позволил себе лёгкую усмешку. — В прямом смысле.

Роланд снова расхохотался. Громко. Открыто. Так смеются мужчины, обсуждая шлюх за бутылкой вина.

— Ты невыносим, Валентайн, — сказал он, отсмеявшись. — Она же влюблена в тебя по уши. А ты с ней как с уличной девкой.

— Она и есть уличная девка. Только дорогая. И, в отличие от дешёвых, умеет просить так, что это почти искусство.

— И что же она у тебя просит?

— Чтобы я её трахнул. Чтобы было больно. Чтобы остались следы. — Я поднял на него взгляд. — Ты прав, она сегодня была в ударе. Стонála так, что, думаю, слышно было в казармах.

Роланд присвистнул.

— Тогда понятно, почему ты так спокоен. Выпустил пар.

— Пар, — повторил я за ним с лёгкой брезгливостью. — Ты говоришь об этом так, будто я конь, которого выгуляли.

— А разве не так? — Роланд прищурился. — Ты после неё всегда сам не свой. Ненадолго. Но видно, что тебе полегчало.

Я не ответил.

Полегчало.

Забавное слово.

Мне не становилось легче. Просто на короткое время внутри что-то затихало. Как затихает ноющая рана, когда по ней прошлись лезвием. Не исцеление — отвлечение.

Клип на экране сменился. Тот же рифф, но теперь — крупный план. Шаграт смотрел прямо в камеру. Чёрные глаза. Чёрные губы. Белая кожа.

Роланд поморщился.

— Слушай, выключи ты эту хуйню. Реально. Я тебя прошу как друга.

— Тебе не нравится?

— Мне нравится, когда бабы танцуют в «Глубинном приливе». А это — кладбище. Ты когда-нибудь улыбаешься под эту музыку?

— Нет.

— Вот именно. — Он покачал головой. — Я не понимаю, как ты живёшь с этим в голове. Это же депрессия в чистом виде.

— Это честность.

— Это пиздец, — отрезал Роланд. — И ты знаешь это.

Я не ответил.

Он вздохнул. Снова склонился над картой.

— Ладно. Вечером возьмём девчонку. А там посмотрим, насколько она интереснее твоих подстилок.

Я медленно провёл пальцем по линии лесной дороги.

— Она не подстилка.

Роланд замер.

Медленно поднял на меня глаза.

— Что?

— Я сказал: она не подстилка. — Я не отводил взгляда от карты. — Она — цель.

— Цель, — повторил Роланд. — Ну да. Ключ к отцу. Я понял.

— Именно.

— А я уж подумал...

— Что ты подумал?

Роланд помолчал.

— Ничего, — сказал он. — Показалось.

Пауза.

На экране клип закончился. Титры сменились чёрным фоном. Повисла тишина.

Я поднялся.

— Пусть будет так, — произнёс я почти шёпотом. — Пусть узнает, что значит играть против нас.

В голосе не было угрозы. Только лёгкая, почти светская насмешка.

Так объясняют ребёнку, почему не стоит совать пальцы в огонь.

Он всё равно сунет.

Но винить будет некого.

Роланд молчал.

А я чувствовал его взгляд. На затылке. Как холод. Как предупреждение.

И где-то глубоко, там, где давно ничего не двигалось, стало тихо.

Слишком тихо.

Как перед бурей.

Сильвана

1

Вечер упал на лес разом.

Густой. Вязкий, как дёготь. Лунный свет едва сочился сквозь кроны, дробясь на рваные полосы. Тропа под ногами угадывалась скорее чутьём, чем зрением.

Я шла по ней машинально — ноги помнили каждый выступ, каждую предательскую рытвину. Но сегодня дорога казалась бесконечной, будто кто-то разматывал её, как нить, и не собирался останавливаться.

Усталость гудела в икрах.

Тревога сидела под горлом — тугая, холодная, мешающая дышать полной грудью.

Хрустнула ветка.

Резко. Сухо. Как щелчок взведённого курка.

Я замерла. Рука сама нырнула в ножны, пальцы сжали рукоять ножа. Холод металла отрезвил, вернул в тело.

Шорох в кустах оборвался.

Я стояла долго, слушая, как колотится в висках кровь. Ветер шевелил ветви, и они нашёптывали что-то на незнакомом языке. Не предостережение даже — скорбную песню о тех, кто уже не вернулся.

Я затянула плащ плотнее.

Не от холода. От ощущения, что сама тьма пытается просочиться под одежду, тронуть кожу, напомнить: здесь больше ничьё тепло не живёт.

Запах далёкого костра мешался с сырой землёй и прелой листвой.

Раньше этот лес пах грибами и смолой. Теперь — гарью и страхом. Даже звери ушли. Только деревья остались — чёрные, корявые, склонённые над тропой, как судьи, взвешивающие, достойна ли я идти дальше.

Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания о том, что видела сегодня.

И они пришли сами.

Марна.

Сгорбленная, почти прозрачная в дверном проёме своей развалюхи. Глаза — два потухших уголька, в которых даже надежда уже не теплилась, только привычка ждать.

Я сунула ей в ладони мешочек с травами, немного муки — всё, что смогла наскрести.

Она выдохнула:

— Спасибо, дочка.

Узловатые пальцы впились в мою руку с неожиданной силой.

В этом «спасибо» не было благодарности. Только горькое знание: завтра будет хуже.

Я уходила, а взгляд Марны буравил спину до самого поворота. Не с укором. С немой мольбой: вернись, принеси хоть что-нибудь, не исчезай, как все.

А потом были дети.

Пятеро.

Сидели у порога, смотрели, как я режу хлеб.

Ни смеха. Ни возни. Ни жадного блеска в глазах. Только покорное ожидание.

Они не плакали.

Вот что было страшнее всего.

Дети, которые разучились плакать.

Лица с ввалившимися щеками. Недетские. Стариковские.

Самый младший, лет пяти, взял свой кусок, прижал к груди и прошептал:

— Это маме.

Меня перерубило пополам. Просто — раз, и внутри что-то хрустнуло.

Дальше — женщина с младенцем.

Грудь пустая. Молока нет уже неделю.

Она не плакала — только смотрела в стену, пока я вливала в крошечный рот последние капли отвара.

— Он кричит, а я ничего не могу, — сказала она бесцветно.

Младенец хрипел, как раненый птенец.

Этот звук до сих пор сидел у меня в ушах. Не затыкался. Не выветривался.

В прошлый раз я не успела.

Старик умер, пока я искала лекарство.

Я остановилась посреди тропы.

Втянула ледяной воздух.

Пальцы дрожали.

Лес молчал, но я знала: за деревьями — те, кто ещё ждёт.

«Может, я просто дура? Что я могу против всей этой машины? Если меня схватят, Тед останется один. Отец потеряет связную».

Мысль появилась — и тут же была отброшена.

Не сейчас.

Сдаваться нельзя.

Я вернусь. Найду способ. Даже если против меня — весь мир.

Гнев поднимался медленно, без всплеска. Как прилив.

Не слепил — прояснял.

Делал мысли холодными, острыми, как обсидиановый скол.

Кулаки сжались сами. Ногти впились в ладони. Кожа на скулах натянулась — как перед ударом. Я чувствовала, как каменеет лицо. Как холодеет взгляд.

Я вспомнила виселицы.

Форма «V». Так эффектнее. Так заметнее. Юный герцог не страдал излишней скромностью.

«Пусть все видят, что бывает с теми, кто забывает своё место» — гласил указ, прибитый к каждой перекладине.

Я обращалась к ним мысленно. К отцу и сыну. К Лагерту и Диаманту.

«Вы думаете, что победили? Думаете, сломали нас? Что мы забудем? Что согнёмся и перестанем быть собой?»

Нет.

Я не забуду.

Память — мой последний щит.

Каждый голодный ребёнок. Каждая высохшая женщина. Каждый старик, молча глядящий в пустоту.

Это приговор.

Не мне.

Им.

Тем, кто решил, что власть даётся для уничтожения.

Я шла дальше.

И тут — услышала.

Сначала не поняла. Приняла за шершня. За ночную птицу. За ветер, гудящий в проводах — хотя откуда здесь провода?

Звук был чужой.

Низкий. Ровный. Механический. Не лесной.

Я подняла голову.

Над кронами, медленно — почти лениво — проплыл дрон.

Чёрный. Гладкий. С четырьмя лопастями, вращающимися так быстро, что они сливались в прозрачные диски. По корпусу — красный огонёк. Пульсирующий. Как сердце.

И объектив.

Маленький. Тёмный. Но направленный вниз.

На меня.

Я замерла.

Он видел меня. Я знала это. Он смотрел. Он запоминал.

Сердце ударило в рёбра. Раз. Два. Три.

Дрон проплыл над тропой — мимо меня — и исчез за деревьями. Тихий. Бесшумный. Как призрак.

Я стояла, не двигаясь. Считала вдохи. Как учил отец.

Раз. Два. Три. Держи. Выдох.

Это новая часть города. Их технологии. Дьявольские изобретения, о которых шептались старики.

Раньше я только слышала о них. Только видела тени — далеко, над новой частью, где неон резал небо.

А теперь — здесь. Над лесом. Над моей тропой.

Надо мной.

Я заставила себя двинуться.

Шаг. Ещё шаг. Ещё.

Ноги слушались плохо. Руки дрожали. В горле стоял сухой ком.

Дрон ушёл. Но я знала: он вернётся. Или — пришлют другого. Или — уже передали сигнал.

Тропа вилась между стволов, уводила всё дальше.

И вдруг — тёплый, жёлтый свет.

Окна.

Мой дом.

Он пробивался сквозь листву, как маяк в шторме. Обещал покой, тепло очага, лицо Теда, ждущего на пороге.

Я ускорила шаг.

Совсем немного — и можно будет выдохнуть.

Совсем немного.

Но где-то высоко, над кронами, — ещё пульсировал красный огонёк.

И я знала: он не ушёл.

Он ждёт.

2

Сначала был звук.

Тихий, почти невесомый — хрустнула сухая ветка под чужой ногой. Звук тут же оборвался, будто тот, кто наступил, замер на месте, осознав оплошность.

Я остановилась. Застыла.

Резко, всем телом, так что пришлось взмахнуть руками, ловя ушедшее вперёд равновесие. Сердце ударило в рёбра — один раз, другой, — и понеслось, заполняя уши горячим, нарастающим гулом.

«Дыши. Ровно. Не паникуй».

Приказ, отданный самой себе. Я заставила себя вдохнуть через нос, медленно, до самого низа живота. Выдохнуть. Ещё раз.

Кусты шевелились.

Не ветер.

Тень.

Ещё одна.

Они обступали меня полукругом — бесшумные, текучие, отрезая путь назад. Я чувствовала их не столько зрением, сколько кожей, тем особым холодком, который ползёт вдоль позвоночника, когда на тебя смотрят из темноты.

И где-то высоко, над кронами, — гудение.

Тихое. Ровное. Механическое.

Дрон.

Тот самый. Он не ушёл. Он вернулся. И привёл их.

— Кто здесь? — спросила я.

Голос вышел твёрже, чем я ожидала. Но на последнем слогe дрогнул, звякнул тревогой, как трескается тонкий лёд под сапогом.

Молчание.

Густое, давящее на виски, как чужие ладони.

Тени сдвинулись ближе.

Трое.

А может — четверо.

Они двигались, как звери: пригнувшись, прячась за стволы, сокращая расстояние без единого лишнего шороха. Профессионалы. Те, кого учили не оставлять жертве времени на решение.

Я сжала узел на шее. Верёвка обожгла холодом. Как никогда раньше.

Ледяной ком подкатил к горлу, и на миг мне показалось, что я не смогу вдохнуть.

А потом перед глазами вспыхнули лица.
Марна. Её узловатые пальцы, вцепившиеся в мою руку.
Дети. С пустыми, недетскими глазами.
Женщина с младенцем, у которой молчала грудь.
«Я не могу их подвести. Не имею права».
— Не сейчас! — внутренний голос хлестнул, как плеть, выдирая из оцепенения. — Не дай им победить!
И паника схлынула.
Она ушла не сразу, а волной, оставив после себя холодное, яростное спокойствие. Острое. Собранное в кулак. Я не стану лёгкой добычей.
Я развернулась и побежала.
К дому. К свету. К теплу.
Только бы успеть.
Лес бросился на меня.
Сапоги вязли во мху, как в мокрой золе. Ветка полоснула по щеке — я почувствовала, как лопнула кожа, как по скуле побежало что-то тёплое. Не боль. Пока только жар.
Я не сбавляла шаг.
В ушах — кровь. В горле — рваное, обжигающее дыхание. Лёгкие горели. Икры сводило. Где-то на бегу я потеряла мешочек с травами — он упал в мох, и я не стала возвращаться.
Запах прелой листвы смешался с потом и металлом. Липкая струйка крови доползла до губ, и я почувствовала её вкус — солёный, ржавый, живой.
Это не сон.
Не страшная сказка на ночь.
Это дышало в затылок.
— Держи её! — окрик, резкий, как удар хлыста, разорвавший ночь.
Топот за спиной. Дрожь земли — в ногах, в костях, как приближение грозы.
Я знала эту тропу наизусть. Каждую петлю. Каждый корень. Каждый поворот.
Но лес предал меня.
Стал чужим. Враждебным. Перекроил сам себя.
Я свернула не туда.
Вместо знакомого поворота — заросли. Кусты встали стеной, колючей и глухой. Корни цеплялись за сапоги, рвали подол плаща, тянули обратно, в темноту.
Место было знакомым. Но что-то в нём сдвинулось. Тропа — та же. Корни — те же. А лес — другой. Будто кто-то переставил его. На полшага. На шаг.
Они знали короткий путь.
Срезали угол.
Их дыхание уже жгло затылок. Я слышала, как они дышат — рвано, с присвистом, но ровно настолько, чтобы понимать: они не устали. Они только разгоняются.
Ещё несколько шагов — и я увидела бы крыльцо.
Протянула бы руку к дверной ручке.
Ворвалась бы в дом.
Захлопнула бы дверь.
Закричала бы.
Я увидела свет. Жёлтый. Тёплый. В окне кухни. И тень Теда — за стеклом. Он ждал. Он не знал.
Не успела.
Удар пришёл сзади.

Обрушился на затылок — глухой, страшный, ослепляющий. Я не услышала его. Я почувствовала, как что-то хрустнуло в шее. Как мир вспыхнул белым — а потом схлопнулся в чёрную точку. Как тело стало чужим — тяжёлым, ватным, не моим.

Ноги подогнулись.

Я падала.

Но земли не почувствовала.

Только пустоту — холодную и вязкую, засасывающую, как трясина. Она тянула меня вниз, в самую глубину, где не было ни страха, ни боли, ни памяти.

Последним, что долетело сквозь гаснущее сознание, стал запах.

Чужой пот. Резкий. Кислый.

И ржавый металл.

А сверху, сквозь толщу воды, голос:

— Готово. Тащите её.

Хрустнула ветка под чьим-то сапогом.

И — смех.

Короткий. Довольный. Чужой.

А где-то высоко, над кронами, — снова гудение.

Дрон уходил. Докладывать.

И — тишина.

Глухая. Всепоглощающая.

Глава 2

Глава 2

. Вниз

«Тело помнит всё. Да

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.